

# АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

## РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

# Алексей Николаевич Толстой

## Рукопись, найденная под кроватью

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=143095](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143095)  
*«Эмигранты»: «Правда»; Москва; 1982*  
*ISBN 978-5-4467-0497-2*

### Аннотация

«Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, – ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля – много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, – превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне – легче пуха, теплее шубы – халат из пиринейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, – Париж, Париж!..»

# Алексей Толстой

## Рукопись, найденная под кроватью

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, – ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля – много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, – превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне – легче пуха, теплее шубы – халат из пиринейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, – Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше – трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнущий ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами – особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть, – хоть раз вдохнешь – во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощел-

кивают в камине угли. До сладострастия приятно, – вот так, в тишине, – вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассейское, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь Я – сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные глазки... Всего ей мало, – чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и – вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт – русский, к сожалению. Но я – просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я, – закурил папиросу и – дым под солнце. Идеальное состояние. Я – человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот – мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лоялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце – о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и

вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви – я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь – честь. А ленточки – это дешевка, – мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, – какая сволочь люди, – унылое дурачье. Я уж не говорю про – извините за выражение – Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник – вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнила Петербург? Морозное утро, думы над городом. Весь город – из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег, – идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту...

Французишки тоже хороши: салатники, – покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй, – оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

А в участках у них городовые – ажаны – первым делом

бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи – могучие, корсетом до того перетянута, что внизу – пышность непомерная, а за грудь – отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот – перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар [дешевое вино] во все бутылки и – опять – каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее быстро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязненького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся – в салатных, капустных листьях. Но – местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту улочку – сними-ка шляпу – мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов, – Дантона возили и Робеспьера возили – головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

На чем бишь остановился? Да, – мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви – залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет... Делаю сладенькие улыбочки, – дрогнешь, Медея, выставишь еще бутылмент...

...Это все, разумеется, поэтическое отступление. Сижу я, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами, – давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина, – как ее, черта, забыл имя, – из театра Водевиль. Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре – женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрывка старого, – будто мне нужно чье-то оправдание – Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда – владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в

систему, в порядок. Нужно свести счета с одним человеком, с другом моим...

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной, – видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки – отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

...Абазур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул ваш гуманизм воню на весь мир и сдох. Высшее, что есть в жизни, – покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане – чистые носки и воротничок, – берегу их на особенный случай, в правом – карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва... Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит в голове, – пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне – тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В готском альманахе записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абазур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь.

Будет и будет!.. Ну, ладно...

...Друг мой, Михаил Михайлович, – я знаю, – часа уже три бегает по Парижу, пряменький, страшенький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша, – этого быстро вы не знаете. А вдруг – зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне – зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвостовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у Паяра, в Кафе де Пари,

у Максима. Русское командование показало широту натуры. За нами шатался постоянный табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

Он каким-то особенным образом, – даже нехорошо, – любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало – заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был изблюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома, – научил ей меня в Симбирске протопоп. Смотрю – у Михаила Михайловича лицо собирается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояля на ковер, расстегивает мундир, – в руках бутылка с коньяком и рюмка, – слушает и раскачивается, припухшее лицо его – бритое и красное – все смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней, – надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит иступленная вера... Преобразись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него – не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми, – все это важно.

Его род – не древний, от опричнины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил щепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры, – зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосы святых отцов, скликал дудочников и скоморохов, – и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака, – как был – в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках, – и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле, – плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа – громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж – он как в бане моется, дрянь из него выходит, – хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И,

конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в Нижний-Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят – он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах, – премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой, – город одиночества. Идешь в сумерках – дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный, – сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка, – одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет непереставаемый поток существ. А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и пре-

красный, все помнит – и голоса счастья и стоны смерти, – все берегает – суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания, – все запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? – Только самоулада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж, – с этого и началась омерзительная душевная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого кошмарным соусом с кроушкой, – переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами, – медь о медь, – древняя, романская и молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоутвержденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые – самые неостроумные – воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые –

остроумные – занимались спекуляцией, для какой-то цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий разряд – это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? Тот-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится, – от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочкой изживал самого себя, горел в собственном чаду. Огонек был странненький – шипел и чадил, но Михаил Михайлович много наслаждения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от него зависимость.

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончике, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил Михайлович, хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «Дорогой, позвони». Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня – содовой и пикону. Мы курили и

пили, – с утра становилось наплевать на все. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дышим, глотаем содовую с коньяком и пиконом. Михаил Михайлович, смеясь, дергался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось призанять у него деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца, на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало, – больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по каким-то ломаным углам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над великолепным филеом, – насладиться мясом и вином. Да, черт, – хороши были завтраки у Фукьеца!

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет, – дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно в одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревьях и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановился и глядел, – блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди облачных домов, – в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях, – непомерно широкая дорога Елисейских

полей уходила в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мимо меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла с безногими солдатиками. Идиоты! Бездарные, жалкие, дураки! Я купил газету и побегал к Михаилу Михайловичу.

Мы выпили коньячку, закурили. Он развернул газету и вдруг начал дергаться под одеялом. «Так, так, – и зарылся носом в подушку. – Так, так, – подскочил и перевернулся на спину. – Лопнула! Хи, хи. Поехала!»

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня точно кирпичом ударило. А Михаил Михайлович хихикал и дрыгался, как гальванизированный лягушонок: «Вот тебе Византия! Хи, хи. Полезли воевать чудо-богатыри! Бац по сонной роже! Спряталась! Хи, хи. Еще хуже – духоты напустила. Бум! – колокол Града Китежа. Полезли покойнички. Встали покойнички от Куликова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватили рожу. Вот ты когда нам попалась? Хи, хи».

Черт его знает, что с ним тогда происходило: он скрипел зубами, корчился, омерзительно хихикал. Когда пришла весть об отречении царя, Михаил Михайлович сказал: «Сегодня кончилась история России. Шабаш». Он заставил меня играть Вагнера «Гибель богов» и с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, помахивая рюмочкой. Мы ужасно напились в тот день.

Париж был в тревоге и недоумении. Французы ходили со

строгими «романскими» глазами, топорщили усы. Было от чего топорщиться: русская задница подпирала их прочно и вдруг – поехала, расползлась. У меня, например, в эти дни было чувство ужаса. Подумай, я твердо стоял обеими ногами на земле: за спиной – 185 миллионов *муженесов*, империя, закон и прочее, вплоть до тетушки Епанчиной с большими рысаками. Все это я мог поносить и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И вдруг за спиной – холодок и пустота. Земля уходит! Ужас! Мираж! Бред! Дым! Ох, это было страшно!

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представителя Временного правительства». Официально встречал его начальник военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший спуска, – красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, перекинув через руку букет красных роз, и, – какой уж там спуск, – даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, счастливы, а? Дождались мы Красного солнышка!»

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вылезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником присяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф Пахомин даже подался несколько назад, но оказалось, что подался для разбега, и, загремев шпорами, вручил букет. С широкой русской улыбкой (как же русскому человеку не улыбаться в такие дни) изъяс-

нил он обуревавшие в его лице чувства высших и низших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парижа, где впервые были провозглашены права человека, поздравить вас, гражданин граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия свободна... Вы свободный гражданин свободной страны... В общем порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки...»

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать.

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что русская революция верна и преданна и исполнена священного порыва воевать до победного конца. Париж, наконец, успокоился. Начались банкеты. Комиссар Кулышкин потрянул старинкой, помянул Дантона и Мирабо, доказал, «что у нас точка в точку, как было у вас». Насчет Дантона французы отмолчались, зато ужасно красиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин сказал, что «пошлем непременно». Он носился с банкетов на фронт и в тыл к русским частям и всюду произносил речи.

Но жить все же было можно: жалованье платили, война

продолжалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших кончать войну, французы иных расстреляли, других посадили за колючую проволоку. Я носил в петлице красную гвоздику и на службе ставил ее перед собой в стакан с водою.

Но вот рано утром, когда я еще спал, появился около моей постели Михаил Михайлович. Он был в пиджачке, в надвинутом на глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь присягать Временному правительству?» – спросил он ледяным голосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы. Что я мог сказать? Сказал, что если он не будет присягать, то и я не буду. Он сел на кровать и молчал, покуда я одевался. Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два наглейших прошения об отпуске по болезни. Михаил Михайлович показал мне чековую книжку и копии телеграмм, посланных в Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть покоен, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у меня выступили слезы. С этого дня началось головокружительное падение в бистро мадам Давид.

Мы уехали в Ниццу. Чего вспоминать! Было волшебно. Лазурное, парное море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущий с гор, запах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где море неразличимо переходит в небесную лазурь. Женщин, как птиц, согнал сюда грохот войны. Их было много здесь, – царство женщин. Наряд-

ные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эспланаде ковыляли безногие и безрукие воины, катились в креслицах человеческие обрубки, тащились безлицые, безглазые... Все они, еще так недавно, были пылкими любownikами.

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный роман с фантастической американкой, не то птицей, не то ребенком. Я же, из соображений практических, искал знакомства с девушками из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка!

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение окончилось ужаснейшим скандалом. Американка долгa проигралась в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ресторанах, шоферам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение захвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербургский дом ликвидировать невозможно». Мы оставили чемоданы и платья в гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и переменил квартиру.

Месяца четыре жили мы в кредит, приходилось вести весьма широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверхчеловеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел его с прогремевшей на обоих по-

лушариях мадемуазель Сальмон, – шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предавалась всем существующим порокам и накручивала такие счета, что это поддержало наш кредит еще на месяц.

Я перестал спать по ночам, – кровать была полна раскаленных угольев. Мы сидели на динамитном погребке с подсунутым фитилем. Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не поднимешь его – проваляется весь день, толкнешь – пойдет. Когда мадемуазель Сальмон визжала, швыряла вещами и дралась, он находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секундочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В эти секундочки творилось непоправимое.

Революция, – я это ясно видел, – кончалась. Временное правительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая баржа на мели, армия превратилась в стадо, – немцы, разумеется, с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимиллионному сброду. Дождалась заветного, взяла свое – Рассея – расползлась великим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда шрапнелью да шомполами, – была бы у нас великолепная неметчина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуцманом на колени стал и сапожки бы его омыл светлым восторгом... А Рассею – загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешишь, сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, а со-

юзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты... Четверти века не пройдет, – увидишь, – хлынут косоглазые на римский мир, погуляет по Европе лапоть... Господи, только бы не дожить! Только бы хватило на мой век, – да, да, именно, – абажура, кофейку, тишины... Отними у меня эту надежду – в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из бистро мадам Давид показываю вам, всему миру – кукиш! Ну, ладно...

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда большевики объявили, что долгов платить не станут, – французы даже растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рождества Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей велосипедной шапочкой. По-русски говорить было нельзя, – били.

Помню, – стоял я на бульваре, читал газету: руки ходунном ходят, в глазах – муть, зелень, тьма... «Всем... всем... всем... Долой мировой капитализм!.. Смерть мировому империализму!.. Товарищи, протягивайте руки через головы кровавых тиранов...» Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Ключья какие-то летят по всему свету!.. Земля шатается... За что ухватиться? Мираж! Ощупываю самого себя... Вдруг из-за плеча высовывается голова, – старичок какой-то

смотрит в мою газету, и начинает у него играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Все мое состояние – в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?..» И опять у него челюсть выскочила... Тут я – гениальнейшим, молниеносным прозрением – вдруг отрекся от самого себя: оказалось – зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом, – то есть горлышком разбитой бутылки, – одного русского, Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и что со всех русских нужно драть кожу... Клянусь тебе, это было мистическое перерождение. Уходил с бульвара уже не я, не Сашка Епанчин, а Шарль Арну.

Я скрылся. В два дня переменял несколько гостиниц и окончательно замел след в квартале Сен-Дени, в одной из старинных улочек, населенных проститутками, сочинителями уличных песенок, певцами, мелкими ремесленниками. Отличное местечко. Население в сущности жило на улице среди лотков, тележек с овощами, жаровен, где пеклись каштаны и картошка, в бистро и кабачках. Из окон торчали полосатые перины для проветривания любовной влаги. Изо всех окон перекликались девчонки, полураздетые молодые люди, – пели, пищали, хохотали, ссорились. Котлом кипела беспечная, пустяковая жизнь, – даже война с трудом могла омрачить ее.

Я кинулся разыскивать Ренэ – ту маленькую певичку, ко-

торая после Ниццы долгое время писала мне нежные записочки. Я нашел ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в небо. Это было рано утром. Ренэ спала в старой деревянной кровати, под ситцевой периной. Сквозь покатое окошко падал свет на ее худенькое и кроткое лицо, у рта – две нерадостные морщинки, на подушечке – крошки хлеба, над кроватью – фотография какого-то смазливового солдата в могильном веночке из сухих цветов: Ренэ была свободна. Но, боже, – какая нищета! Даже дверь из общего коридора в ее комнату не была заперта. Ренэ вздохнула, открыла глаза, – в них появились испуг и изумление. Я бросился на колени перед кроватью, схватил руку Ренэ и, – честное слово, – облил ее слезами.

Я не стал лгать Ренэ, – я лишь сочинил ей ту историю, какая могла быть понятна ее простенькому сердцу. Но суть оставалась одна и та же. Я рассказал, что революция убила мою незабвенную старушку мать: толпа большевиков, от самых глаз заросших бородами, кинулась, держа в зубах ножи, на дом моей матушки, вытащила ее на мостовую и с хохотом разорвала в клочья, сожгла дом и прибила доску с надписью: «Так расправляются с друзьями империалистической Франции».

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «О, боже, боже!» Тогда, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное преступление: вчера на набережной встретил тайного агента большевиков, одного из убийц моей матушки,

задушил его и бросил в Сену. Полиция меня ищет, но я переименовал имя и скрылся. Ренэ схватила мою голову и прижала к голой груди, – глаза ее потемнели, я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предложила мне жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из карманов все свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша семейная жизнь.

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал надевать пиджак прямо на фуфайку. Мы спускались в бистро пить кофе, затем шли к дядюшке Писанли, усатому старичку в черной шапочке, – он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки Писанли мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего сочинения, сказал, что «после первого же куплета публика разобьет ваши кофейники и те-

бе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на самый верх, где, как ласточкино гнездо под крутым обрывом, стоял со времени еще Империи крошечный кабачок «Веселый кролик». Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и обломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные штаны, рукава рубашки закатаны по локоть, лицо багровое и прокуренное, как чубук. Это и был последний представитель племени монмартрской богемы Мишель Виду. Он мог неограниченное время курить трубку и молчать.

Ренэ трогательно объяснила ему нашу просьбу – дать для музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул изо рта трубку, захватил горстью бороду, понюхал ее и опять сунул трубку в огромный рот. Покуривав и помолчав около часа, он достал из кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишками и через плечо протянул ее Ренэ. В стишках говорилось о том, что "хорошо бы взорвать динамитом Париж, повесить на фонарях полицейских и депутатов Бурбонского дворца и после того мирно сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролика». Ренэ была в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти стишки.

Ренэ выступила в маленьком кафе с песенками Мистангет, но успех был средний. Тогда на семейном совете было

решено создать «характерный номер». Под присмотром дядюшки Писанли мы разрабатывали его и репетировали. Выступили мы в Медоне, где стояла бригада негров.

В кафе, битком набитом добродушнейшими неграми, на крошечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной каске. Взмахнув шпагой, она запела «Мадлон» [военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад «Марсельезу» (прим. авт.)]. Разумеется, негры сейчас же подхватили песню, скалясь и топя пудовыми башмаками. Но вот позади Ренэ появился я, в привязанной рыжей, как веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел и ругался порусски. По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, вырвал у нее шпагу, скрипел зубами и скакал, как обезьяна. Музыка играла бешеную «польку-трясогузку». Негры завывали от удовольствия. Наконец Ренэ развернула трехцветное знамя, я перекувырнулся и упал. Ренэ наступила мне на спину и, размахивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет «Мадлон». Успех был огромный. Я взял шлем и пошел между столиками. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросали в шлем монеты. Мы заработали двести франков.

После этого мы уехали в провинцию, затем вернулись в Париж, подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам. Зарабатывали мы не ровно, но и не плохо. Ренэ нежно любила меня. Обычно, покуда я еще спал, она бегала на рынок и возвращалась с корзиночкой, полной вкусных

вещей. Суежилась и болтала, как птичка. В ней было очарование простого, беззлобного сердца: живем – покуда живем, а маленькое счастье всегда при нас. Странно, из всей сложной жизни я вспоминаю, – как вспоминают какое-то единственное залитое солнцем утро, – эти десять месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в солдатских кофейных. Ей-богу, – человеку нужно немного!.. Да, да, – видишь – чернила расплылись: плачу... Что же из того, – плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное счастье, коротенькое и грустное... Все кануло в синюю бездну времени... Снова на моем пути появился Михаил Михайлович, и все запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мне было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меня, когда высоко над Парижем, под самым небом, в старенькой постели, положив мне голову на плечо, кротко спала Ренэ. В углу стоял глиняный рукомоЙник, на стене, исписанной углем, на гвоздике висели привязная борода, красная юбочка и трехцветный флаг, да в корзиночке – остатки еды с вечера.

Летом Париж снова начал дрожать от грохота пушек. С неба валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия напрягала последние усилия, но уже отчаяние овладевало французами. Железным тараном немцы били и били в прекрасную Францию, хотя уже было ясно, что никакими по-

бедами не оправдать пустыни, покрытой деревянными крестами. Дела наши были плачевны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась нежность ко мне Ренэ.

И вдруг все изменилось. Во французские гавани вошли заокеанские многотысячетонные корабли. В тучах дыма загрохотали подъемные краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, пушки, хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сотни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов.

Американцы сказали: «Воевать надо широко», – и от гаваней к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по немцам миллионами бомб, миллиардами долларов, – пошли на прорыв узкой кишкой от самого Ламанша. А из-за океана шли новые, дымили на полнеба корабли, груженные войсками.

И хрустнула немецкая грудь. Внезапно, – так же, как и нашло, – развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир, – зашептали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с востока, – бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе... Эх, да что вспоминать, – сам все знаешь. Жил зверь покорно и смирно, вертел жернов, – кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли придумать с вашей культурой.

Помню – я проходил по Новому мосту, – на нем еще Ген-

рих IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен-Клу. Багровый закат пыльным сиянием пылал в узкой реке, отражались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, сияли мрачным золотом крылатые кони Александра III, торчала унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и душно. Я сел на каменную скамью в полукруглой нише моста. За спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных башнях Консьержери.

Я почувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, показалось – десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, проклятые петли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, все усилия, хитрости, подлости, – вся эта бессмыслица – только для того, чтобы вот притащиться на этот мост. Душно, темно... Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в каменную скамью. Так неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мостовым, лестницам, перелучкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неуловимого. Остро, едко, пыльно пахли старые камни. Я стал различать не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В спокойном отчаянии я понял, что это проходят все мгновения, бывшие в этот час сумерек в этом месте: все, что мы считаем ушедшим и мертвым, не ушло и не умерло, но все, проходившие по мосту, проходят снова и вечно, – мелькают

кони, всадники, кареты, пешеходы... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие тени... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая печаль! Режущий, долгий вопль прорезал красноватую тьму. Это кричат на острове Сите рыцари, сжигаемые заживо... Это гибнут под ножами отступники церкви... Это безумная Териев жжет пучками соломы распятую на дворе тюрьмы прекрасную цветочницу!.. Нет! Это визжал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, какое ничтожество!.. Я – лишь пылинка, жалкая тень в куцем пиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки проходить с папиросочкой по мосту...

– Вот, видишь, мы и встретились.

Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, пряменький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался.

– Выпьем, Саша? Пойдем.

– Не хочу.

Он опять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку и потащил. Я не пытался ни оттолкнуть его, ни убежать. Ноги стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, расхлыстанная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, древней улочке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где продавались уголь и вино.

Сели за стол друг против друга. Михаил Михайлович был похож на веселого покойничка, – бритое лицо шелушилось,

глаза выпученные, остекленевшие, рука, наливая вино, дрожала, вся в раздутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье – грязное.

– Сбежал, сбежал! – повторял он и гладил мою руку, и, едва я начинал лгать о том – почему и как скрылся, – прерывал со смехом: – Саша, не ври. Все это мелочи. Я тоже хвостом след замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я на них святым зверем, – гаф!.. Взвыл, и в одном пиджачке вниз головой – мырь. Очутился за заставой, два месяца ночевал на природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с Гастоном Утиный Нос, – воровали кур и кроликов на Версальской дороге. Все это мелочи. Теперь у меня – покровитель, скоро буду дьявольски богат. Обеспечу тебя на три года. Не веришь? Сказать? Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане... Старые связи... Конечно, я – подлец. Но все это мелочи... Погляди, ощупай меня... Другой?.. Правда? Во мне все поет. Помнишь – «преобразилась неправедная земля!» и бум, – колокола Града Китежа... Тогда были только слезы, у Паяра – голые девчонки, слезы, – не преобразится никогда, нет... А теперь, слышишь, – поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука... Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и – бум. «Преобразись, неправедная земля!..»

Я слушал, – и не понимаю, жутко, – с ума он сошел:

– Миша, о чем ты говоришь? Какой к черту Град Китеж? Это Интернационал-то?

– Молчи... В тебе никогда не было восторга. Ты микроскопическая дрянь. Тебе в бочке надо жить, в тухлой воде. Ах, не понимаешь... В России знаешь что? В России в масках скачут... А под масками лица – в слезах, в слезах, и – восторг! Берите, все берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещенский мороз идут женихи в бой, одна красная лента через грудь, – голые. По снегам кровь хлещет сорокаведерными бочками. Чума, мор, голод! В Сибири вехи стоят из мороженных мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под землей – бумм, бумм, бумм! Преобразись, несправедная земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль, продают в портах. Берлин трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит – руки в штанах – наточил ножик. В Лондоне джентльмены в цилиндрах, в моноклях, лорды и герцоги – грузят багаж на вокзалах... Слушай, Саша, слушай, – это воет человек, рвет с себя звериную маску.

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледяными пальцами мне в руку.

– Саша, я – пьян, убог, гнусен. Но ведь он на зеленых лугах, на шелковом ковре мед пил из золотой чаши... Знаешь – с усмешечкой, глаза мечтательные, сердце – яростное, надменное... А ты говоришь: «Молчи, живи в тухлой воде...» Я тоже пить хочу из золотого ковша... Завтра пойду нефтяное прошение строчить, разбогатею. Гастона Утиный Нос облагодетельствую, а тебе – шиш! Ты в бочку смотришь. Ах,

Саша... Сел бы я на коня, – крикнуть бы, завизжать!.. Четыре столетия во мне этот крик. Да – не могу. В жизни не мог закричать, – только писк мышинный... Я в вине утоплюсь!.. Порода наша кончена. Теперь богатыри нужны, а я – пищу. Теперь – ногу в стремя, проснись, душа!.. А у меня, видишь, как руки трясутся... Саша, милый, живу я в таком восторге... Так упоительно себя ненавижу... Ведь хоть в этом богатырство мое...

...Одним словом, ничего из разговора с Михаилом Михайловичем хорошего не вышло. Теперь уже не я, как прежде, а он по утрам стал ко мне шататься. Ренэ устраивала нам ранние завтраки: салат, жареные ракушки, сыр, вино. Мы сидели в облаках дыма и бредили.

Морщась от глотка коньяку, ковыряя булавкой ракушку, Михаил Михайлович перестраивал всемирную историю. Выходило у него так:

Запад, наследник Рима, продолжал унылое дело великой империи, покрывал землю крепостями и замками, весь уходил в вещи, в камни, в букву. Он ненавидел человека, свободу, солнце и землю, счастье и созерцание. Его разум и воля были направлены к познанию разложения материи и к созданию из разложения мертвой вещи. Он упрямо строил каменную гробницу всему человечеству.

И вот на востоке, в полынных степях, на плоскогорьях Памира, родился великий гнев и блаженная мечта: идти на запад, к берегам лазурного океана, и там, среди развалин

храмов, пасти стада под звездами. И вот – заскрипели телеги, заревели стада, двинулись на запад пастухи, табунщики, степные богатыри. Столетие за столетием набегали и крепили кочевые волны. Родился Чингисхан. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда тянуло тлением. Затрещали твердыни запада под ударами хана. Могучие восточные царства охватили объятиями Европу, проникли к ее сердцу, насытили ее благовониями розы. Но не настали еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Московская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, походное знамя хана, – конский хвост. Москва была коварна и лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе, – частоколами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, вероломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженная – возникала вновь, как трава после пожара, – крепла и ширилась. И попытала, наконец, удачи, – прорвалась степная конница, потоптала подковами древние виноградники, свистнула таинственным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушла степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпаком, – воротимся! не пришли еще сроки. И вот теперь снова, сожженная, разбитая и униженная, потрянула ханским бунчуком и – посвистывает, запекает странные песни, напускает морока, нависает ужасом над древней Европой. Воротимся!..

Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох,

не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки, – запретить самый язык русский. Действительно, жили, – Ренэ и я, – безобидные, как воробьи, пришел потомок Чингиса, напустил морока, ударил копытом в наше счастье, и вот – кручусь, как в дымном столбе.

От этих разговоров, пьянства и обормотства Ренэ день ото дня становилась грустнее, но молчала. Где ей было вставить словечко, когда мы, опрокидывая в глотки пинар, тараша друг на друга глаза, дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Работать я бросил и запретил Ренэ выступать в кабаках: довольно ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у покровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтракать друга-приятеля – Гастона Утиный Нос. Это был небольшого роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и блестящими стекловидными глазами, какие бывают у людей с перешибленным носом. Он резал хлеб и мясо своим ножом – *навахой*, выпил одну рюмку коньяку – и то после еды, – от кофе отказался, говоря, что это его *нервит*, и по поводу перестройки всемирной истории сказал: «Панмонголизм такая же глупость, как и Третья республика: променять одну паршивую кошку на другую; над человечеством должна быть произведена капитальная операция (он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие ребята, но наивны,

как зяблики, – устроили неплохую революцию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это – чтобы не было никаких законов и – поменьше дураков». Он вылил из стакана последнюю каплю на ноготь, недокуренную папиросу сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подскокил к нему, как тарантул:

– Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской дороге. Вы – просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. Весь ваш анархизм – от несварения кишок. Ножиком мне перед носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит, – анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать из цейхгауза на предмет усиления притока иностранцев в Париж. Чушь! Мусор! Старье! Все ваше откровение – жареный каплун да бутылка бургундского, Чмокать любите, милый друг...

Михаил Михайлович наговорил лишнего. Гастон Утиный Нос булькал горлом, щурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за спинку кровати и – вовремя: Гастон Утиный Нос гортанно вскрикнул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом пролетела наваха. Михаил Михайлович схватился за разрезанное ухо. Утиный Нос исчез навсегда.

Такая полировка крови пришлась Михаилу Михайловичу по вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Монруж он собирал слушателей, ставил им литр

водки и произносил речи о приближающейся гибели цивилизации, об идущей на человечество огромной ночи, *где будут мерцать лишь костры кочевников*, о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих массах, о массовой воле, об *урагане времени*, о русской революции, сеющей на закате мира семена нового завета. Он показывал разрезанное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Гастона Утиный Нос и весь его анархизм.

Но время для апокалипсиса было неудачное. В Париже начались танцы: где бы только ни заиграла музыка – в кабачке, на перекрестке, на тротуаре, – появлялись пары, тесно прижавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали колени, раскачивались, танцевали, танцевали, как загнипнотизированные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но какая-то сосредоточенная решимость – нагнать потерянное время, забыть в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждом глазу.

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Деникин подходил к Москве. В Париж слетались русские стаями, как птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывались политические совещания, открывались кредиты, шли непрерывные заседания. Грузились аэропланы и танки. Рокковым басом ревела Эйфелева башня о неминуемом, – через три недели, – конце большевиков! В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, безвинно поседев-

шими, с портфелями, набитыми записками о спасении родины. Вынырнул Кулышкин в велосипедной шапочке. Русских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по безотчетному забеганию в магазины.

Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалывалась, – чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епанчиной. Но я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, действительно тогда я слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту звериную тропу, которая привела к единственному живому уголку в моей жизни – под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ грустила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему прищпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я наглед с каждым, днем. Еще бы: одолеет Деникин – тогда я опять барин, одолеют большевики – все равно я – скиф, похититель Европы, бич божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. Случилось это в день праздника Разоружения.

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали монопланы. Солнце пылало над кишачими народом бульварами, над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле закипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по измученным лицам.

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов палили пушки, – казалось, словно свет солнца разрывался стальным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухватившись за столики, обыватели, – пляли одурело, глотали ледяную воду. Это был день, когда ЧЕЛОВЕК бросил винтовку и рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало жечь, раскаляло горло, раздувало жилы, – не было ни пощады, ни прощения.

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и парящими монопланами. Щеки ее горели. Держа меня за руку, она ловко проталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился за нами, зеленый и прищуренный. Так мы добрались до площади Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как в котильоне, растрепанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: «Папирос, папирос!» – и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе крутились, дрались, визжали. Помню – на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом смотрел он на эту новую Францию, подбравшую в пыли американские папиросы.

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страш-

но весело», – и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Михайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пушек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинематографических рекламах, транспарантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных.

Ренэ догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!» Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толпу, ее заслонили бегущие подростки.

Михаил Михайлович с остервенением работал локтями. Около часа мы пробивались к левому берегу: головы, головы, пыльные лица, запекшиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот снова раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович вскочил на подножку пустого автомобиля – весь перекошенный, пряменький – и на-

чал выкрикивать лающим голосом:

– ...Это ваш праздник?.. с ума сошли?.. разве не видите... ведь это – *негритянский рай*... Так этим вы кончили войну?.. для этого четыре года тряслась земля?.. чтоб – цветы из оберточной бумаги?.. Обманули!.. Проснитесь... сегодня праздник мертвецов... президента – на фонарь!.. депутатов – в Сену!.. К черту «Мадлон»!.. «Карманьолу»!.. Жечь дворцы!.. плясать на трупах!.. водку – с порохом!.. Только этим... этим...

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множество рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайлович, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими кулаками. Я рванулся сначала к нему, затем – бежать... Но и меня сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший мне в рот...

...Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, и не безрезультатно. Пишу – третий день. Понимаешь: это – в третий день. Смешно? – хи, хи, как смеялся дорогой Миша... Я ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес? – крестом его, поленом, каблуками, а потом – ножки вытри о половичок. Во имя че-

го? Во имя самого себя-с. Желая покойно сидеть под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, протянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час скрипну зубами – во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы она существует сама по себе, – не желаю верить, не докажешь. Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатся потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. Заживо желаю с блаженством вытянуться, – потухай, мир, черт с тобой. Прищурюсь на Сириус, – ну-ка, лопни. Трах-тара-рах, – летит Сириус в клочки, звездный переполох, и – пустая дыра в пространстве. Так-то...

...В моем письме как будто не заметно перерыва... Нет, дружище, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка была. И даже место писания переменялось. И бумага, как видишь, другая. На этот раз *беседую с тобой из бистро мадам Давид*... Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское варево... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши, – пей, думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И – смотришь – возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня по этим аркам, Вергилий...

...Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на площади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли

в участок и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая кровью, пролежали три месяца в сводчатом подвале на железных с дырочками койках. За эти три месяца я с божественной ясностью понял, что кочевые костры – не что иное, как сумасшедший бред, и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями полицейский башмак, когда он проезжается по твоим ребрам, – дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по этому курсу держи компас.

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кармане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел запертой, комната была пуста. Соседи сказали, что Ренэ давным-давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Писанли и взял у него кое-какую работишку, – переписывал ноты, ходил играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в косое окошко. Во сне мне часто снилась Ренэ. Как плакал я, обнимая подушку!

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклоняться... Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записоч-

ки, – я бросал их в поганое ведро не читая... Однажды прочел... Заметь, – он сам, сам во всем виноват... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, приходи немедленно, у меня много денег...» В этот вечер лил потоп. С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната моя и освещалась и согревалась одной свечой. В кармане – три липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и пошел по указанному в записочке новому адресу. Боже, какой был дождь!

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под лампой с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижаме – светленькой, в полосочку, в какой баб принимают, – и тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда все это? Присел у огня. От одежды пошел пар, пахну псиной и чувствую – сейчас завою от обиды.

Мишенька хихикал, дрыгал коленками. Оказывается, нефтяные дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили на Кавказе участок, и Михаилу Михайловичу перепали крохи. Отсюда и бонбоньерочная квартирка и коньячок. Он мне сказал: «Я, дружок, решил отложить закат Европы на некоторое время, насладиться жизнью, хи, хи...»

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погасить в себе ледяной дрожи. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я

сказал:

– Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь?

– Ну что же, Сашура, если растоптал, значит – лучшего она и не стоила... Ты только представь: ты – жучок, и подожди лапки.

– Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный музыкант.

– Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музыкант.

– Ты сумасшедший... Тебя убить нужно.

– Подожди, поживу еще немножко. Смотри, как у меня уютно.

– Я тебя убью все-таки.

– Чем?

– А вот этим. (Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утиный Нос. Клянусь тебе, я не помнил, с каких пор она завелась у меня в кармане. Михаил Михайлович пощупал лезвие.)

– Нарочно ее захватил?

– Не твое дело.

– Это когда мы на койках лежали, ты решил?

– Да, тогда.

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без просвета глазами отыскал мои зрачки:

– Саш, знаешь, – ведь убить ты меня не можешь... Я ведь не существую сам по себе... Тебе это никогда не казалось? Изловчишься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у те-

бя в горле. А меня-то и нет совсем... ку-ку...

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к двери. Он догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорил по-старому, но я ушел. Я провалялся много дней в лихорадке на чердаке. Я думал: околею, но только не видеть его. Ненависть, ненависть, трепет, ужас были во мне, – будто я – поджавший ноги жучок, будто Миша, застилая полсвета, пауком подбирается ко мне. Денег не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. Забегал чуть не каждый день. За всем тем – пришлось бывать у него. Появилось пианино. И опять я играл Град Китеж, и он с рюмочкой на ковре заходиллся от восторга...

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в банк получать сто тысяч франков. Сегодня, в четверг, он должен был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся из Лондона. *В понедельник же утром я сел писать тебе письмо.* Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка трепала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил Михайлович как раз выходил из подъезда: коротенькое пальто, через плечо перекинута тросточка, – пряменький, хохотливо весел. Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался мне чрезвычайно. Мы отправились в кабак,

оттуда к девкам, – старая программа. В четыре часа утра мы шли по древнейшей улочке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович пожелал скушать лукового супу на рынках... Мы спокойно шли есть луковый суп. Было только одно: несколько раз он спросил: «Что ты отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке?» – и близко всматривался мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. Прогрехотала огромная телега с морковью и цветной капустой, прогрохотала сажеными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал на шаг, мягко раскрыл наваху и вонзил ее Михаилу Михайловичу сзади в шею... И вот... прощай... Ухожу вслед за ним...